

У всякого рассказа есть три версии:
ваша... моя... и правдивая.
Ни одна не лжет.

Роберт Эванс

1

Элинор-Ригби

Октябрь 2016 г., Лондон

Меня зовут Элинор-Ригби Донован.

Возможно, мое имя вам что-то говорит. Дело в том, что мои родители обожали «Битлз»: «Элинор Ригби» — название песни, написанной Полом Маккартни.

Мой отец терпеть не может, когда я ему напоминаю, что его молодость осталась в прошлом веке, но деваться некуда. В 1960-е годы фанаты рок-музыки делились на две группы: одна была за «Роллинг стоунз», другая — за «Битлз»; по какой-то неведомой причине любить и тех и других одновременно было невозможно.

Мои родители впервые встретились, когда им было семнадцать. Случилось это в лондонском пабе по соседству с Эбби-роуд, весь зал хором распевал All You Need Is Love, впившись глазами в экран телевизора: транслировали концерт «Битлз». Семьсот миллионов телезрителей по всему миру

поддерживали их зарождающееся чувство – чем не начало романа, достойного остаться в истории? Тем не менее спустя несколько лет они потеряли друг друга из виду. Но жизнь полна неожиданностей, и они снова встретились при весьма необычных обстоятельствах, когда обоим было уже под тридцать. Меня зачали спустя тринадцать лет после первого поцелуя. Они явно не торопились.

Мой отец, отличающийся безбрежным чувством юмора – согласно семейному преданию, именно этим качеством он и привлек мою мать, – при регистрации моего свидетельства о рождении нарек меня Элинор-Ригби.

«Когда мы тебя затевали, то бесконечно слушали эту песню», – признался он мне как-то раз в свое оправдание.

Ситуация, подробности которой мне совершенно не хотелось себе представлять. Любому желающему я могла бы поведать о своем трудном детстве, только это было бы враньем, а врать я никогда не умела.

Семья у меня из категории неправильных – как все семьи. Делятся они на два клана: одни семьи это признают, другие делают вид, будто у них все в порядке. Наша – неправильная, но веселая, порой даже слишком. Только попробуй заговорить о чем-то серьезно – тебя мигом поднимут на смех. У нас ко всему относятся легкомысленно, даже к тому, что грозит тяжкими последствиями. Признаться, меня это часто бесило. Мои родители только и делали, что обвиняли друг друга

в безумии, пронизывавшем всю нашу жизнь: разговоры, совместные трапезы, вечера и наше детство — мое, моего старшего брата (он появился на свет на двадцать минут раньше меня) и моей младшей сестры Мэгги.

Мэгги (седьмая песня с первой стороны альбома *Let It Be*) — существо непостоянное и беспокойное, при этом у нее железный характер, а еще она непревзойденная эгоистка, когда речь заходит о повседневных мелочах. И все это в ней прекрасно уживается. Если у вас серьезная проблема, она тут как тут. Не хотите садиться в четыре утра в машину к двум приятелям, слишком поддавшим, чтобы управлять даже самокатом? Она стащит ключи отцовского «остина», помчится в пижаме на другой конец города, заберет вас, да еще развезет по домам ваших приятелей, дав им напоследок нагоняй, хотя они на два года ее старше. Но только попробуйте стянуть за завтраком бутерброд из ее тарелки — получите по рукам так, что надолго запомните. И не надейтесь, что она оставит вам в холодильнике хоть каплю молока. Остается загадкой, почему родители всегда носили ее на руках, как принцессу. Мама испытывала перед ней болезненное восхищение: ее младшенькой были суждены великие свершения. Мэгги станет адвокатом или врачом, а может, и тем и другим сразу, будет спасать вдов и сирот, покончит с голодом во всем мире... Короче, обожаемый ребенок, о будущности которого полагалось петься всей семьей.

Моего брата-близнеца назвали Мишелем (седьмая песня с первой стороны альбома *Rubber Soul*), хотя в песне это имя женское. Гинеколог не разглядел на УЗИ его пипку. Ничего не поделаешь, мы с ним лежали тесно-тесно. Errare humanum est – человеку свойственно ошибаться. Зато какой сюрприз при родах! Но имя уже выбрали, о его замене не могло быть речи. Папа согласился убрать лишние «*l*» и «*e*»¹, но первые три года мой братец провел в детской с розовыми стенами: Алиса гонялась по ним за кроликами. Подслеповатость гинеколога приводит порой к непредвиденным последствиям.

Люди, путающие приличное образование с лицемерием, смущенно скажут, что Мишель у нас человек особенный. Убежденные в своем все-знайстве обречены жить в шорах предрассудков. Мишель обитает в мире, где нет места насилию, стяжательству, лицемерию, несправедливости, злобе. Врачи считают его мир хаосом, но для него самого каждой вещи и каждой мысли отведено особое место, и мир этот так непосредственен, так искренен, что у меня возникает мысль: не мы ли, все остальные, особенные, если не сказать не-нормальные? Те же самые врачи никогда не могут толком определить, что с ним: синдром Аспергера или он просто не такой, как остальные. На самом деле все, конечно, не «просто», но Мишель

¹ Женский вариант имени – Michelle, мужской – Michel. (Здесь и далее – прим. перев.)

и вправду невероятно милый и мягкий человек, кладезь здравомыслия, неисчерпаемый источник веселья. Если я не умею врать, то Мишель не может не сказать того, что думает, причем сразу же, как только ему в голову пришла какая-то мысль. В четыре года, когда он решил наконец заговорить, он спросил в очереди к кассе супермаркета у женщины в кресле-каталке, почему она сидит в детской коляске. Мама, потрясенная тем, что услышала от него первую связную фразу, сначала схватила его на руки и осыпала поцелуями, а уж потом побагровела от стыда. И это было только начало...

С того вечера, когда наши родители опять встретились, они не переставали друг друга любить. У них, как у всякой пары, случались ледниковые периоды, когда между ними царил холод, но вскоре наступало примирение и вновь возвращались неизменное взаимное уважение и восхищение. Однажды, расставшись с тем, в кого была влюблена, я спросила их, как им удалось пронести любовь через всю жизнь, и получила от отца ответ: «История любви – это встреча двух дающих».

Мама умерла в прошлом году. Они с отцом ужинали в ресторане, официант принес ее любимый десерт, ромовую бабу, – и она уткнулась лицом в горку крема. Откачать ее так и не смогли.

Папа старается не делиться с нами своим горем, понимая, что мы переживаем случившееся по-своему. Мишель продолжает звонить маме каждое

утро, и отец исправно отвечает, что она не может подойти к телефону.

Спустя два дня после того, как мы предали ее земле, папа собрал нас за семейным столом и категорически запретил сидеть с похоронным видом. Мамина смерть ни в коем случае не должна была разрушить то, что они вместе создали для нас, приложив немало усилий, – веселую сплоченную семью. Назавтра мы обнаружили на дверце холодильника записку: «Дорогие мои, сначала умирают ваши родители, потом наступает ваша очередь. Хорошего вам дня. Папа». Логично, как сказал бы мой братец. Нельзя терять время, предаваясь унынию. И вообще, если ваша мать уходит в царство теней, упав лицом в ромовую бабу, это наводит на размышления.

Узнав о том, кем я работаю, большинство людей бледнеют от зависти. Я журналистка «Нэшил джиографик». Мне платят – пусть не слишком щедро, но все-таки – за то, что я разъезжаю по миру, запечатлевая и описывая его разнообразие. Странно, но мне пришлось объехать всю планету, чтобы обнаружить, что все это великолепное разнообразие окружает меня в повседневной жизни и достаточно толкнуть дверь своего дома и немного внимательнее взглянуть на других людей, чтобы это понять.

Но когда проводишь жизнь в самолетах, триста ночей в году спишь в гостиничных номерах разной степени комфорта, чаще невысокой из-за ограниченного бюджета, пишешь по большей части

в тряских автобусах и приходишь в неописуемый экстаз при виде чистой душевой кабинки, то, вернувшись домой, испытываешь одно-единственное желание: растянуться, задрав ноги, на мягком диване перед телевизором, чтобы рядом стоял поднос с едой и близкие были тут же, на расстоянии вытянутой руки.

Моя личная жизнь исчерпывается редкими короткими романами. Беспрерывные путешествия — все равно что клеймо безбрачия, выжженное раскаленным железом на неопределенный срок. Два года я встречалась с репортером «Вашингтон пост», надеясь на взаимную верность. Иллюзия, пускай и восхитительная. Мы пытались поддерживать ощущение близости при помощи электронной переписки, но ни разу не провели вместе больше трех дней подряд. В общей сложности наша связь не продлилась и двух месяцев. При каждой встрече у нас отчаянно колотилось сердце, при каждом расставании тоже; не выдержав аритмии, мы оба сдались.

У меня, по сравнению с большинством моих друзей, далеко не банальная жизнь, а однажды утром, когда я взялась просматривать почту, она стала и вовсе странной.

Я летела домой из Коста-Рики, папа приехал за мной в аэропорт. Мне твердят, что в тридцать пять лет пора перерезать пуповину. В каком-то смысле я уже это сделала, но, возвращаясь и находя лицо отца в толпе, высматривающей прибывших пассажиров, я всякий раз впадаю в детство,

и ничто не заставит меня побороть это сладкое чувство.

После маминой смерти он немного постарел, шевелюра поредела, животик слегка округлился, походка отяжелела, но он по-прежнему привлекательный мужчина — элегантный, блестящий, экстравагантный, и никакой аромат на свете не действует на меня так умиротворяюще, как запах его макушки, когда он крепко меня обнимает и приподнимает в воздух. Да-да, эдипов комплекс, держи нас крепче и не отпускай, по крайней мере чем позже, тем лучше... Поездка в Центральную Америку вымотала меня до предела. Весь полет я сидела стиснутая между двумя пассажирами, поочередно ронявшими голову мне на плечо при малейшей тряске, словно на подушку. Вернувшись домой и увидев в зеркале ванной свое помятое лицо, я поняла, почему они так со мной обращались. Мишель пришел ужинать к папе, посреди ужина к нам присоединилась моя сестра, и я разрывалась между наслаждением всех их видеть и желанием уединиться в комнате, официально считавшейся моей, пока мне не исполнилось двадцать, а неофициально — гораздо дольше. Я снимаю квартирку-студию на западе Лондона, на Олд-Бромптон-роуд, — из принципа и чисто из гордости, потому что почти никогда там не ночую. В те редкие моменты, когда я оказываюсь на родине, мне приятно возвращаться под крышу нашего дома в Крайдоне.

Переночевав у папы, я поехала к себе и нашла среди счетов и рекламных проспектов надписанный от руки конверт. Почерк был изумительно красивый, округлый, с нажимом и тонкими хвостиками в правильных местах — так учат писать в школе.

Извлеченное из конверта письмо сообщало о совершенно мне неведомом прошлом моей матери. Меня уверяли, будто, разбирая ее вещи, я непременно обнаружу предметы из прошлого, которые откроют мне глаза на то, какой была на самом деле моя мать. Не довольствуясь этим, анонимный автор утверждал, что мама была замешана в некоем преступном деянии, совершенном тридцать пять лет назад. Никаких уточнений в письме не содержалось.

В этих откровениях было многовато неувязок. Начать с того, что тридцать пять лет назад мама уже ждала меня... Трудно представить себе, как моя мама, причем беременная двойней, совершает преступление — невообразимо для тех, кто ее знал. Автор анонимного письма предлагал, если мне захочется узнать больше, отправиться на другой конец света. В завершение он просил меня уничтожить это послание и никому о нем не рассказывать — ни Мэгги, ни тем более отцу.

Откуда этот незнакомец знал имена моих близких? Это тоже привело меня в недоумение.

Я похоронила маму только весной и все еще сильно скучала по ней.

Сестре не могла взбрести в голову такая скверная шутка, брат был категорически не способен выдумать подобную историю. Сколько бы я ни листала свою адресную книжку, в ней не нашлось бы ни одного знакомого, которого можно было бы заподозрить в этой проделке.

Как бы поступили на моем месте вы? Вероятно, совершили бы ту же ошибку, что и я.

Салли-Энн

Октябрь 1980 г., Балтимор

Чтобы выйти из лофта, нужно было спуститься по крутой лестнице. Сто двадцать высоких ступенек, три пролета, еле-еле освещенные лампочкой на перекрученном проводе — тусклое мерцание в бездонной пропасти. Спуск был сродни игре со смертью, подъем превращался в пытку. Салли-Энн проделывала этот путь дважды в день, утром и вечером.

Старый грузовой лифт давно отслужил свое. Теперь его ржавая решетка стала частью пейзажа, слабо выделяясь на фоне охровых стен.

Всякий раз, когда Салли-Энн толкала дверь и выходила наружу, ей бросалась в глаза вереница обшарпанных доков. Вдоль улиц теснились старые кирпичные склады. Истрепанный морскими ветрами пирс щетинился высокими кранами, забиравшими контейнеры с последних грузовых судов, еще швартовавшихся в этом пришедшем в упадок

порту. Квартал еще не привлек внимания кудесников-застройщиков. В те времена в заброшенных домах вокруг порта ютились разве что начинающие актеры, подававшие слабые надежды музыканты и живописцы, юнцы без гроша в кармане, заглядывавшиеся на дочек богатых родителей, никому не нужные и зачастую конфликтовавшие с законом прожигатели жизни. До ближайшей бакалеи было десять минут езды на мотоцикле.

Салли-Энн была владелицей мотоцикла «Триумф Бонвиль»: 650 кубических сантиметров его двигателя позволяли (сдуру) разгоняться до ста пятидесяти и даже больше миль в час. Вмятина на бело-синем баке напоминала о падении, случившемся, когда хозяйка объезжала этого норовистого зверя.

Несколько дней назад родители предложили Салли-Энн покинуть родной город и отправиться смотреть мир. Мать холеной рукой подписала чек, аккуратно оторвав его от корешка, и протянула дочери, тем самым также отрывая ее от себя.

Салли-Энн прикинула, сколько времени можно будет веселиться и пить на эту сумму, и обиженная скорее тем, что семья отправляет ее куда подальше, чем требованием искупить ошибку, которой она еще не совершила, решила мстить. Она добьется такого успеха, что в один прекрасный день они раскаются, что отреклись от нее! Честолюбивый проект, спору нет. Однако в запасе у Салли-Энн был недюжинный ум, красивое тело и пухлая адресная книжка. В ее семье мерилом успеха были размер

банковского счета и имущество, которым можно блеснуть. Денег Салли-Энн всегда хватало, но ее они интересовали лишь постольку-поскольку. Она любила большие компании и только посмеивалась над родственниками, шокированными ее общением с людьми не их круга. У Салли-Энн хватало недостатков, зато она отличалась способностью к бескорыстной дружбе.

Предательский цвет неба — ослепительная лазурь — заставлял забыть, что всю ночь лил дождь. Но она была настороже: скользкая дорога — смертельный враг мотоциклиста. «Триумф» мчался по асфальту, Салли-Энн чувствовала икрами тепло мотора. Управление этой машиной дарило ей чувство бесконечной свободы.

Издали приметив на перекрестке одинокий памятник среди пустыни — кабину телефона-автомата, — она взглянула на циферблат часов, блестевших между застежками перчатки, сбросила скорость и нажала на рукоятку тормоза. Поставила мотоцикл у тротуара, опустила упор. Нужно было убедиться, что сообщница не опаздывает.

Пять гудков. От тревоги у Салли-Энн перехватило горло. Почему Мэй не отвечает? Наконец в трубке раздался щелчок.

- Все в порядке?
- Да, — услышала она угрюмый голос.
- Я еду. Ты готова?
- Надеюсь... Тем более уже поздно идти на попятную, ведь так?

— Зачем нам сдавать назад? — удивилась Салли-Энн.

На перечисление всех причин, от которых у нее пухла голова, у Мэй ушло бы много времени. Их план слишком рискованный. Стоит ли игра свеч? Что проку мстить, когда сделанного все равно не воротишь? Что, если все пойдет не так, как задумано, и их схватят? Дважды пострадать за одно и то же — не многовато ли? С другой стороны, она решилась на этот риск не ради себя, а ради по-други. В общем, Мэй промолчала.

Мимо медленно ехала машина полиции, и Салли-Энн задержала дыхание, стараясь умерить волнение. Если она струхнет сейчас, то что будет, когда дойдет до дела? Пока что ей было не в чем себя упрекнуть: мотоцикл стоял по всем правилам, звонить из телефона-автомата закон не запрещает. Машина не затормозила, но полицейский за рулем на нее засмотрелся — и было на что! «И эти туда же!» — подумала она, вешая трубку.

Что там на часах? Она будет удверей Стэнфилдов через двадцать минут, через час уедет от них, через полтора часа вернется домой. Эти полтора часа все-все изменят для Мэй и для нее. Она прыгнула на мотоцикл, ударила пяткой по стартеру и с ревом рванула вперед.

На другом конце города Мэй надевала пальто. Она заранее засунула глубоко в карман крючок-отмычку с крестообразным наконечником, завернутый в салфетку, заранее расплатилась с изготовленным этот инструмент для взлома слесарем.

Выйдя из дому, она поежилась от холода. Голые ветки тополей на ветру стучали друг о друга. Она подняла воротник и заторопилась на автобусную остановку.

Сидя у окна, она изучила свое отражение, откинула назад и заколола волосы. Мужчина через два ряда от нее слушал Чета Бейкера по маленькому транзистору, стоявшему у него на коленях, и медленно покачивал головой в такт балладе. Его сосед громко шуршал газетой, явно желая досадить слушателю *My Funny Valentine*: ему самому песенка, очевидно, была не по вкусу.

— По-моему, это самая красивая песня в мире, — с упреком заявила сидевшая рядом женщина.

Мэй эта песня казалась не столько красивой, сколько грустной; истина, как водится, была где-то посередине. Мэй вышла через шесть остановок и встала у подножия холма. Она приехала строго в условленное время, но Салли-Энн уже ждала ее со своим мотоциклом. Протянула Мэй шлем, подождала, пока та устроится сзади. Потом мотор взревел, и «Триумф» сорвался с места.